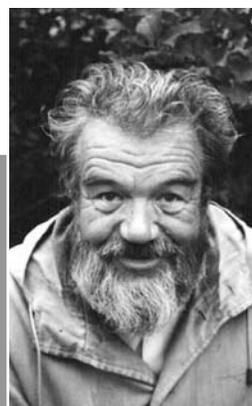


Нас пижут – мы пишем

эссе

Николай
Беляев
«След ласточки»



Есть волшебные книги, которые станешь читать – будто свою жизнь листаешь. Открываешь «След ласточки» Николая Беляева и выхватываешь подсознательным зрением строфы, говорящие именно о тебе. Они с хрустяще снежной белизны листа словно посылаются тебе свыше:

**Белый-белый, белый-белый,
снег, презревший счёт и вес,
снег, рукою щедрой, смелой
нам отпущенный с небес...**

Возьмёшь первый раз блокнот и перо в руки – словно у камня Судьбы встанешь: «Направо пойдёшь – лиру потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь – себя потеряешь, лиру спасёшь;

прямо пойдёшь – и себя и лиру потеряешь...»

Выбор невелик. И не тебе его делать, на самом деле. Всё решается в других сферах и на других весах взвешивается. Только если услышишь ты однажды звук лиры – значит, погублена твоя «сытая» жизнь окончательно и бесповоротно, и суждено тебе отныне не жить, но выживать – а за это дано ощущать самые великие человеческие минуты – восторг вдохновения. Ничего, что последние грошки бряцают, да из худого кармана в мир катятся: слезами катятся, а значит, душа чистится. Голод – он сердцу полезен, музыка волшебная слышится, записать бы её успеть, жаль, что силы быстро убывают:

**Еле-еле ноги волоча,
бедность и беда бредут в обнимку,
бормоча проклятья под сурдинку
и случайной мелочью бренча...**

Это очень даже хорошо: бифштекса с кровью на обед избежал, явил миру строчку – чистую и ключевую – воде из-под крана родственную; заглянул в короб для картошки, которая уж как две недели доедена, а в коробе стихи ждут – брать, мыть, чистить и в суп вселенский кидать. Смыслы выправлять да зёрна мудрости искать. Если пару горстей риса осталось – можно хорошей кашицы наварить. Луковица в холодильнике обнаружилась – опять слёзы, очистительный катарсис. Плохо, когда хлеба нет. Хлеб – всему голова. Без головы плохо творить:

**...свой неповторимый мир твори,
чистый, ясный – как разлив зари –
мир, в котором Слово –
Жизни стоит!**

На хлебушек – по десять копеек часто собираешь. Стыдно с такой мелочишкой идти, да ничего не попишешь иначе. И идти надо непременно в погребок на Япеева – только там настоящий чёрный хлеб и остался поблизости. А в других лабазах – безвкусное серое вещество, сельские опилки без ума, без запаха. Не ядрёное ржаное мясо каравая, а спрессованный безжизненный кирпич силиката. Наешься такой дряни – какое слово из тебя пойдёт? Залётное, шальное, дурное и легковесное. Не умное, не живое, а лишь пустая дробь звуков, рассеивающая наступающую силу русского корня слов:

**Балабон, баяльник, баламут,
колобой, болтун, коровье батало...
Как словарь к моим занятиям крут!
Как серьёзно слово поработало...**

Серьёзное же слово – каменное. Ворочать его языком – всё равно что многопудовые гири тягать. Без ума к нему не подступишься. Да и на сердце надо, чтоб свет лежал. Сердцем ведь слова возносишь, языком только поддакиваешь и, окончательно прищёлкая, отправляешь с миром в стихи и повести.

Подступишься эдак к особо неподъёмной строке, походишь возле, попыhtiшь, на ладони поплюёшь, возьмёшь её на рывок, сердце растягивая, всей душой кряхтя и наверх выжимая – и чуешь, что не сорвёшь уже, до конца вытолкнешь к небесам на ясное солнышко. Вот как хорошо. Только слева иногда теперь прихватит – зелень в глазах, но зато и мир зеленее предстаёт. А листья, листья твои – прожилками вен набухают. Бежит кровь, бурлит мыслями и надеждами:

**...Жилец подлунный, истрепавший мышцу
сердечную в раздумьях о былом,
о Родине, чей поиск вечных истин –
согрет ушедшими – их болью и теплом.**

И про камень, перед которым стоял в начале пути, всё забыто давно. Тяжело только тогда, когда забываешься и по сторонам начинаешь озираешься: как другие люди живут. А живут ничего. Ты, оказывается, самый зачуханный да одинокий, но от того не менее счастливый. Не блаженный даже, просто другими категориями мыслящий и другим светом питающийся. А то, что недоедаешь – оттого и пухлый – такие парадоксы гражданам и на ум не приходят. А ты просто улыбаешься глупо и дальше живёшь – стыдно, конечно, здоровый мужик, на хлеб не умеющий заработать – и даже в дворники не желающий пойти. Не настолько изголодал, значит.

Но ты знал. Наперёд знал, что так будет. И пошёл пером махать вместо уютного дворничества. Ведь по клавиатуре молотить – во сто крат тяжелее, чем кайлом лёд долбить да листья памяти с гудрона сметать:

**Ты знаешь – что тебе сулит
путь, изломавший столько судеб,
душа заранее болит:
он и к тебе суровым будет...**

Главное – не надо жить с мыслью, что весь мир тебе должен. Ты вот миру – задолжал крепко. И родным, и друзьям, что помогают тебе, как могут, пусть и в меру своих далёких представлений о творческом пути неуклюжего в финансовом отношении творителя поэзии из вакуума. И то, что ты разбрыцаешься

своей уникальной лирой, так то ещё ничего и не значит. Пока не спасёшь хотя бы одну душу, пока не вытащишь человеческое изо льда рутины и не растопишь рыбью кровь словами сострадательными и милосердными. Но даже и тогда – всем остаёшься должен всегда, ибо это правда, а от неё не убеешь, не зажмуриться:

...Не могу сказать, что я бездельник.
Потрудился, вроде, на веку.
Но стихи не пишу ради денег.
Перед всеми навсегда в долгу...

174

Можно лишь не понимать, что сказал, но ощущать хорошее или плохое, доброе или злое из уст льётся чернильной патокой – ты можешь. Не то что слово – весь мир тебе в ощущении дан. И если чувства не сопротивляются сказанному, не спорят с умом, иногда так сильно подводящим творителя, – значит, слово твоё верное, а понимать его не всегда и благо, можно лишь гадать. Токмо смыслы иногда так рыхлы, что ступишь на тропу троп, да и увязнешь на ней с концами и финалами говорения:

Судьбы наши – ранят тем болезненней,
чем необъяснимей – область снов.
Слишком много значила поэзия –
толкованье наших нервных слов.

Но тебя это совсем не пугает и не тяготит. Потому что истинно влюблённому в слово больше ничего и не нужно. Лишь бы проговариваться, захлёбываясь от восторга, всем и каждому – пляшущи-

ми буквами бытия. Лишь бы гортанно рисовать видимые и невидимые образы, разить резким, закипающим в горле звуком и выговаривать любовь оживающим стенам человеческого сочувствия, у которых всегда есть уши. Влюблённые уши в поэтическую страсть былинного эпоса и тихое журчание лирического истока мягкого сердца:

Оглушённый, с улыбкой блуждающей,
лёгкой, блаженной,
засыпающий где-то не здесь –
в добиблейском раю,
ты, впервые влюблённый,
коснувшийся тайны вселенной,
о как я понимаю,
как чувствую душу твою!..

А в мягкости поэтического мотора кроется страшная, пламенная сила, предрекающая исполнение написанного. Этот вечный двигатель поэтических строк в огне самоуничтожения выжигает всю шелуху сверхнеобходимой зауми, кривые сучья лукавых аллюзий и реминисценций, игрушечную бересту показушной стилистики лубка и трухлявую гниль скрытых цитат, выплавляя первородное авторское слово. И чем оно сильнее, тем мощнее теребит себя сердце, беспрестанно теперь покалывающее и кровоточащее наружу, но глазам дарящее неизменно чудесный зелёный цвет:

...Зеленя, на упругом стебле
выгоняя вверх нежнейший цвет,
о любви поют поля и степи.
Кто же скажет, будто Бога – нет?..



Равиль Бухараев «Яблоко, привязанное к ветке»

175

Яблоко, привязанное к ветке – та самая ненаигранная искренность Ра-виля Бухараева, которая случается в стихах первого сборника, та самая сказочная хрупкость детства. Перелески и тростник камышей – всё это оживало за Казанкой и в моём личном детстве: детсадовском безоблачном, и школьном, с уже появившимися в нём первыми облаками – лёгкими и перистыми, но способными отгородить от меня солнце и предречь застывшие хрустальные облака взрослых:

*Осень опустилась в перелески,
голубеет в жёлтом тростнике,
по воде, как лебедь царскосельский,
облако скользит к моей руке...*

Я бежал мимо них по проходным дворам Большой Красной на Тельмана, к уютному домику с палисадом даваники. Облака соскальзывали с моих размашистых рук на подорожник у калитки, превращались в капли и звенели муравьям про ушедшее лето. А я мчался с обшарпанными эмалированными ведрами на колонку за водой и заполнял на кухне большой цинковый бак, а потом уплетал вкусные даваникины оладьи с земляничным вареньем и прислушивался к радиомаяку, теперь уже размахивая не руками, а головой, помогая энергичными кивками обретать мелодиям из динамика воздушные направления. А ночью был таинственный даваникин

голос, шепчущий старые татарские колыбельные:

*...Испуганная нянечка моя
поёт и плачет тонким голоском.
Ночь. Татарчонка лепит из меня
татарка в первом платье городском...*

Я почти ничего не понимал. Только вручал себя скрипучим диковинным словам и нежной интонации. Тёплые гортанные слоги складывались в восточные сласти – медовым чак-чаком лопались на языке и густой сладкой патокой держали свой путь в вечно голодную и вечно любопытную юношескую утробу. Там незнакомые созвучия медленно, но верно переваривались и расщеплялись на родное материнское наречие, а отцовские яростные вспышки острых тюркских смыслов совсем забывались.

«Большое спасибо! Завтра приду», – говорил я утром на следующий день даванике, сжимая коробку треугольно-вафельно-шоколадных конфет «Нива» и отплывал вместе с облаками обратно на Лобачевского по сказочным тропинкам зелёных проходных дворов деревянной Казани:

*...А что мне делать? Как сказать – закат
в реке волнуется полоской узкой?..
Как пасынок родного языка,
живу, пишу и думаю по-русски!..*

Да. Так я уплывал из детства 8 марта, когда, выползая из построенного во дворе «штаба», узнал от мамы, что

умер отец. Я ещё мало знал его в свои девять лет, но ощутил вдруг вместе с пронзительно зажурчавшим в эту минуту околоподъездным грязноватым ручейком, что детство кончилось, и нужно течь дальше – серым холодным потоком мимо мутных юношеских берегов печали и восторга.

Мы текли и впадали вместе с мамой в Вятку – реку её детства и теперь реку моего юношества – пронзительно одинокого, изменившего моё направление, осушившего русло ртутной казанской воли, но давшее стремительный вятский интерес к чтению. И я пил библиотеки, как бурную и живую воду Вятки, гигантскими судорожными глотками, и всё никак не мог напиться:

**На переправе сумерки красивы,
И тлеет бакен – будто уголёк...
По Вятке вниз и вверх бегут буксиры,
Один паром гуляет поперёк...**

Облака то и дело сгущались в тучи. Тучи орошали своей кровью почву юного разума и питали ненасытную душу жадной молодости. Весенние буквы Дюма, тома которого приносила мама из сельской библиотеки в хозяйственной сумке, затопляли всё вокруг, как мутные воды лесного Куксеря, через который нужно было пробираться в школу по полусгнившему мосту. Эти слова проливались на мою голову ливнем авантюрных сюжетов, головокружительно отчаянными действиями персонажей и провалами в описании пейзажей. А когда бурные потоки стихали – слышалась и другая дробь ледяного дождя тоски. Предвкушение ещё не познанной грусти первой любви:

**Ах, этот дождь тоскливый как он лил!
Как будто злую бездну океана
из зыбкого рассветного тумана
сквозь сито слишком мелкое цедил...**

Дробь переходила в ледяную порошу неумолимого девичьего сердца. Ледяное крошево больно ранило самолюбие ещё не признанного гения.

Снежные шипицинские поля и леса необъятностью пространства вдавливали меня в наст и еловыми иглами заши-

вали рот, полный отчаянного крика свободы и независимости от беспощадных школьных уроков. Январская поленница кряхтела на сорокаградусном морозе, когда я деревянными снарядами набивал холщовую обойму мешка и нёс будущую канонаду сырых выстрелов для печки на кухне и титана для ванной. Ибо необходимо было смыть с себя день житейских урядиц, а потом погреться на кухне в ожидании печёной картошки с неизмеримо вкусным молоком и хрустящими солёными огурцами:

**...Январский день серьёзен и суров,
на зыбких стёклах леденеют страсти,
и вся зима поделена на части
неправильными сотами дворов.**

У печки дышалось раскалённо. Могило. Уже и голод пропал – уходил в руки и начинал дребезжать пальцами. Буквы вытанцовывались свои, а не прочитанные в книге. Даже как-то и помимо головы всё это делалось – только, знай, синяя треснувшая ручка мелькала по общей тетрадке в клетку. Впервые строки математически точно выстраивались в строфы – неумелые и корявые, но зато очень точно подверженные вселенскому маршевому ритму силлабо-тоники:

**Мне кажется, рукою кто-то водит
и на бумаге, белой, как зима,
такие сочетания выводит,
как будто я уже сошёл с ума...**

Они длились и в школе. И всё полнившее меня тоскливо зовущее любовное марево вдруг трансформировалось на уроке математики в пылкие признания к светлой косичке, сидящей передо мной, и воплощалось в узкой, но длинной записке, ловко перехваченной учителем и по совместительству – директором сосновской средней школы №1.

Ужас и стыд, теплота к готическому школьному платьицу и ненависть к неуклюже-пиджачному алгебраическому наставнику, агрессия сумасшедших гормонов и паралич невинности головного мозга – всё это размазанное пятно эмоций – вот та школьная клякса искренности к первому встречному. Экстремизм принятия и понимания:

Откройте дверь, когда я попрошу.
Я гость незванный, я немного трушу.
Нет, я не вор, хоть граблю вашу душу,
я ничего с собой не уношу...

Именно тогда зарождался оборотень поэта, мирно дремлющий днём и возрождающийся ночью. Взрезающий душу остро отточенный лунный диск начинал вертеться и гигантским винилом нашёптывал будущие стихи. Бессонница вгрызалась в автора записочек с неумолимостью старческого бдения. Первые петухи своими клювами раздалбливали череп поэтической жертвы и кричали ей прямо в мозг. Обратная сторона славы школьного стихоплёта сводила юного литератора с ума, но муки этого тяжёлого словесно-рудokoпного творчества не истребляли его дух до конца. Они лишь выплавляли из него жизненные соки строф и оставляли иссушённое тело на равнодушной кровати:

...Душевное здоровье – повесть,
в которой ночи напролёт
хрипит талант, бунтует совесть,
спать честолюбье не даёт;
где, в жажде оказаться праздным,
за две страницы до конца
похмельный мозг горит соблазном
вливать в череп капельку свинца...

Всё это происходило тогда – когда стихи создавались наедине с собой. Но как оказалось позднее – это не являлось завершающим пределом для настоящего творца. Поскольку однажды пришло осознание того, что великие строки пишутся наедине с Богом. А когда это произойдёт – не знает никто. Остаётся только жить на этом чёрном свете и изредка повторять во Вселенную:

...тогда глаза раскроешь настезь
и счастье ощутишь в одном:
что ты живёшь, здоровый насмерть,
на этом свете проходном!

